МАЯКОВСКИЙ: ЗА И ПРОТИВ

В двадцатые годы Маяковский в Большой аудитории Политехнического музея проводил литературные вечера, на которых обсуждались программы всех литературных групп. Эти вечера давали тогдашней молодежи возможность получить более полное представление о современной поэзии, разобраться в сути многочисленных литературных группировок, приучали критически относиться к авторитетам.

В один из вечеров, когда речь шла о поэтах на буквы Г, Д и Е, выступил студент Брюсовского института Михаил Гершензон. Вышел он на сцену в длиннополой фронтовой шинели, поздоровался с Маяковским и предупредил:

— Я буду читать два стихотворения.

— А не много?! Впрочем, читайте!

Когда он начал читать, нас поразило обилие античных образов в стихотворении. После первого стихотворения часть аудитории стала кричать: «Довольно! Долой! Исключить!» А мы, хоть и не были удовлетворены содержанием, поддерживали своего товарища — аплодировали, кричали: «Браво, Гершензон! Давай еще!»

Второе стихотворение было в духе первого. Реакция противников была резко отрицательной. Когда шум приумолк, Маяковский обратился к аудитории:

— Я думаю, обсуждать эти стихи мы не будем. Но два слова я все же скажу. Вот мы все, в том числе и вы, товарищ Гершензон, воевали. Разбили интервентов. У нас были винтовки, пулеметы, орудия. У врагов их было еще больше. А что получилось бы, если бы мы шли против вражеских пулеметов с первобытными луками и стрелами в руках?

— Они нас уничтожили бы.

— Совершенно верно, уничтожили бы. Значит, вы признаете, что лук и стрелы в наше время оружие плохое?

— Признаю.

— А почему же вы в своих стихах предлагаете нашим читателям **коринфские стрелы**? Разве эти **стрелы** могут помочь им в борьбе с разрухой, в борьбе за создание новой жизни?

— Дело в том, Владимир Владимирович, что эти стихи — не мои, я таких не пишу...

— А чьи же?

— Оба стихотворения написал Вячеслав Иванов. Вот, пожалуйста, взгляните, — и протянул Маяковскому книгу стихов В. Иванова.

— Почему же вы читали чужие стихи?

— Я решил проверить этих судей. Меня они исключили бы немедленно, даже если я прочел бы мои самые лучшие стихи.

— Вы об этом меньше всего беспокойтесь. Товарищи, — обратился Маяковский к притихшей и несколько смущенной аудитории, — решения менять не будем. По существу оно правильно. Я предлагаю переадресовать его только, а именно: направить по адресу Вячеслава Иванова...

Владимир Владимирович объявил:

— Сейчас будет выступать замечательный русский поэт Сергей Есенин!

Встреченный шумными аплодисментами, Есенин прочел несколько стихотворений, но, против обычного, читал как-то «прохладно», глуховато. Слушатели аплодировали, но тоже «прохладно». Маяковский укоризненно покачал головой, потом сказал:

— Что же это такое? Читает замечательные стихи замечательный поэт, а вы... Разве это аплодисменты? Нет! Я с таким отношением согласиться не могу. Дай мне эти стихи, я их прочту сам.

Читая, он несколько изменил своей обычной манере, отлично выявлял лирические нюансы. Стихи Есенина прозвучали, как никогда. Раздался долго не смолкавший гром аплодисментов.

Есенин, смущенно улыбаясь, пожал руку Маяковскому. Но больше читать не стал.

И вот что мне особенно запомнилось. Маяковский во время чтения изменил несколько слов в стихах Есенина. Так, вместо:

Неужель он не знает,
что живых коней
победила стальная
конница?

— прочел: «**сожрала** стальная конница», а вместо глухое в следующих строчках:

Чтоб и мое глухое
пенье
сумело бронзой
прозвенеть,

— произнес «степное».

В последующих публикациях второго стихотворения Есенина я встречал только слово «степное». Откровенно признаюсь: для меня неясно, то ли Есенин при чтении обмолвился, то ли он принял вариант, «на ходу» предложенный Маяковским. Я только хорошо помню, что читал Есенин тогда «чтоб и мое глухое пенье...»

Вл. ДУБОВКА

ПИСЬМО ДРАЙЗЕРА

Б. РЮРИКОВ

Это было почти сорок лет тому назад. В декабре 1927 года в Нижний Новгород приехал на несколько дней Теодор Драйзер. В ту пору мы только открывали для себя этого большого писателя. Только что у нас были опубликованы романы «Сестра Керри» и «Дженни Герхардт», две книжки рассказов.

Когда мы с И. А. Марченко, журналистом и партийным работником, пришли в гостиницу «Россия» напротив нижегородского Кремля, встревоженная переводчица прежде всего предупредила, что гость не совсем здоров. Незадолго перед тем я прочел статью Шервуда Андерсона о Драйзере: она начиналась словами: «Теодор Драйзер стар — он очень, очень стар».

Но в просторном номере гостиницы навстречу нам встал высокий, крепкий мужчина с яркими, глубоко посаженными глазами и энергично пожал нам руки.

— Нездоров? Пустяки! Немного устал, масса впечатлений.

И тут же перешел к делу:

— Вы журналисты? Что самого интересного в вашем городе? И что значит: Нижний Новгород?

Драйзер действительно приехал больной гриппом. Врачи даже подозревали что-то неладное у него в легких, но он был полон энергией познания, неотступно пытлив. Он очень заинтересовался, когда И. А. Марченко рассказывал ему о Волге, о русских пароходствах, о Сормове. Вспоминал роман Горького «Мать» и пьесу «На дне» — Горького он хорошо знал и уважал.

Еще через день мы встретились на заснеженном нижегородском откосе. Было ясное зимнее утро. За Волгой открывалась бесконечная полоса заволжских лесов. Драйзер сказал:

— Какая там, наверное, мертвая тишина.

Я работал тогда в молодежной газете, мне доводилось быть в лесном городке Семенове, в других лесных районах, и мне показались несправедливыми слова писателя «мертвая тишина»... Я начал рассказывать, какая деятельная жизнь кипит в лесах, как много труда приходится именно на зиму, как проникает культура в эту лесную глушь. Конечно, нельзя было не остановиться на контрастах прошлого и настоящего, не сказать о раскольниках, их скитах, о той своеобразной жизни, что так красочно описана Мельниковым-Печерским в его романе «В лесах». Рассказывал обо всем этом я с увлечением. Драйзер снова посмотрел на синюю полосу лесов.

— Да, у вас совершенно необыкновенная страна, — сказал он, — и люди, вероятно, больше похожи на наших, чем это обычно думают. — Он добавил: — У нас тоже очень интересная страна. Приезжайте к нам.

Затем Драйзер заговорил о своей вчерашней поездке в одно из пригородных селений. С Драйзером ездил мой товарищ, писатель Павел Штатнов, большой знаток деревни. Деревню выбрали заурядную, неподалеку от шоссе, — чтобы могла пройти машина. Штатнов не без удовольствия рассказывал потом, что американский гость прежде всего попросил, чтобы ему показали избу, в которой крестьяне живут вместе с коровами, свиньями и овцами. Такой избы не оказалось. Потом в сельсовете он расспрашивал, как работает сельская администрация, что такое актив. Спросил:

— А радио у вас есть?

Парнишка лет тринадцати, крутившийся в сельсовете, сказал:

— В пять часов приходите ко мне домой, можно будет послушать.

В сельсовет зашел крестьянин в старом пиджаке, с книжкой Диккенса под мышкой. На вопрос Драйзера, интересует ли его чтение, крестьянин сказал, как о самом обычном деле:

— Зимние вечера длинные, как же не почитать.

Драйзеру было тогда за пятьдесят. Один старик вдруг спросил его:

— Сколько тебе лет? Крепкий, а уже седой.

Драйзер ответил, что поседел рано, жизнь была тяжелая, многое пришлось пережить. Крестьянин поддел рукой свою широкую русую, без единого седого волоса бороду:

— Скоро и ты поседел, мне шестьдесят три, а я хоть бы что!

Драйзер говорил нам с улыбкой:

— Вы подумайте, этот крестьянин меня пожалел.

Писатель побывал в нескольких избах, в школе познакомился с учителем, беседовал со школьниками, заставил девушку-переводчицу прочесть все заметки в стенной газете. Уже под вечер его привели в избу, где собрались парни и девушки. П. Штатнов попросил их спеть. Пели русские песни, плясали. Драйзер забыл про грипп и даже попытался пройтись вприсядку. В Нижний Новгород писатель вернулся поздно вечером.

После беседы с Драйзером у меня осталось впечатление, что он неохотно говорит об Америке, о своих книгах. Когда И. А. Марченко коснулся романа «Сестра Керри», Драйзер как-то устало сказал:

— Ну, это было чуть не тридцать лет назад. С тех пор я написал кое-что получше.

Мне опять вспомнились слова Шервуда Андерсона о Драйзере: «Он стал стар и не знает, что делать с жизнью». Это было сказано о человеке, удрученном опытом жизни, окружавшей его. Но когда мысль писателя обращалась к тому миру, который он приехал познать, он был оживлен и энергичен.

Драйзер делился впечатлениями от увиденных у нас фильмов и спектаклей. Ему казалось, что в этих спектаклях слишком силен упор на коллективные чувства и стремления и не находит выражения индивидуальное начало человека. Видно было, что многое им осмыслено предвзято, но замечания его были для нас интересными. После обмена репликами И. А. Марченко предложил Драйзеру:

— А вы напишите о том, что вы здесь увидели, для нашей газеты.

Драйзер удивленно посмотрел на Марченко:

— Но то, что я написал бы, во многом будет для вас неприятно, вы не согласитесь с этим.

— Но мы печатаем не только то, с чем мы согласны. Ведь о некоторых ваших произведениях советские писатели тоже могли бы спорить.

Н. Новгород, по-моему, — один из наиболее привлекательных и интересных городов, какие я видел в России.

Он мне нравится, потому, что имеет Волгу, потому что он не такой плоский, как Москва и Ленинград, потому что в нем тот же живописный тип русских построек, — и при всех этих чисто русских привлекательных чертах в нем, мне кажется, вполне современная, шумно-деятельная, живая атмосфера американского города.

Могу добавить, что первый раз в России я наслаждался действительно солнечным днем и настоящей лунной ночью.

Я хорошо знаком с русской литературой, предшествовавшей Октябрьской революции. С тех пор, как я в России, я видел только вещи, насыщенные революции и новых, коммунистических идеалов. Это меня не вполне удовлетворяет. Из этого я делаю вывод, что здесь налицо или тенденция привить коммунистическое понимание жизни — литературе, поэзии и драме, или же народ в его энтузиазме по отношению к новым, коммунистическим идеалам требует коммунистической интерпретации искусства.

Я основываю это утверждение на следующих пьесах и фильмах, которые я видел: «Москва в Октябре», эйзенштейновские «Генеральная линия» и «Октябрь», «Бабы рязанские», «Ветер», «Союз Великого Дела» и пьесах: «Бронепоезд», «Виринея», и других фильмах и пьесах, все изображающих русскую революцию и ее последующие успехи. Они идеологически ничего общего не имеют с испытаниями и стремлениями, неудачами и успехами человеческого духа, поскольку он индивидуально, а не коллективно сталкивается с жизнью и смертью.

У Софокла, Шекспира, Гауптмана, у ваших собственных русских авторов и в их пьесах вы всегда встречались с этими чисто личными и духовными проблемами.

По моему мнению — мнению индивидуалиста, — коммунизм не рожден, чтобы изменить их (проблемы). По этой причине я и не интересуюсь так послереволюционной литературой, которую я встретил в России.

Но если я правильно схватил духовную сущность русского темперамента, то не много времени пройдет, пока он в своей литературе и искусстве вернется к неизбежным художественным стандартам мира.

Что же касается картины «Поэт и царь», которую я видел вчера в вашем городе, то эта интересная фильма из дореволюционных дней, роскошно, но не исключительно хорошо поставленная, — ценна для меня как историческое знакомство с Пушкиным, его духовными и физическими переживаниями. Это захватывающая история, но у меня такое чувство, что когда-нибудь русские изобразят ее еще лучше.

Во время моей поездки в Ясную Поляну я получил хорошее представление о русской деревенской жизни, так же как и о последних днях семейной жизни Толстого. Я был удивлен, когда увидел, как просто и почти что неудобно он жил. Перед лицом этого я понял, как много он претворил в жизнь из своих идеалов. Этот человек был без сомнения стоиком и одной из великих интеллектуальных сил мира. Я никогда не могу быть достаточно благодарным за то вдохновение, которое мне дали «Война и мир», «Анна Каренина» и «Смерть Ивана Ильича». Его влияние в Америке так же велико, как велико оно было и остается до настоящего часа в России. Я должен прибавить, что, будучи поклонником Толстого, я ни в коем случае не являюсь последователем его религиозных взглядов и всеисцеляющих рецептов (панацей). Я думаю, что теперешняя коммунистическая программа гораздо более полезна для России.

Цель моего приезда в Россию — осведомить одного очень невежественного американского писателя (меня самого) о настоящих общественных условиях русского великого народа. До сих пор я имел для этого только месяц, а эта задача может вполне отнять годы, но я, по крайней мере, делаю все, что могу, чтобы честно наблюдать и понимать то, что вижу, — и пока я не могу не восхвалять идеализма и энергии, которые теперь характеризуют русский народ.

Я надеюсь, что он без колебаний добьется осуществления своих стремлений.

Теодор ДРАЙЗЕР

Драйзер пожал плечами:

— Хорошо, попробую написать.

Оставалось несколько часов до отхода поезда. Драйзер вернулся к себе в гостиницу. Вечером он действительно передал письмо в местную газету.

В конце письма Драйзер заявлял, что, будучи поклонником Толстого, он все же полагает, что теперешняя, коммунистическая программа гораздо более полезна для России.

Письмо это было опубликовано в «Нижегородской коммуне». Редактором газеты был тогда А. С. Щербаков, он сказал, что письмо надо обязательно напечатать, но попросил И. А. Марченко прокомментировать его. И. А. Марченко, мой старший товарищ, был интересной и богатой натурой. Старый коммунист, человек высокой культуры, публицист, отличный оратор, он свободно владел тремя языками, и обычно встречи иностранных гостей, которые приезжали тогда не так часто, поручались Марченко. (Несколько позднее с Марченко подружился Анри Барбюс, который приехал в Нижний Новгород, заболел и несколько недель пролежал в местной больнице.)

Комментируя письмо Драйзера, Марченко прежде всего не согласился с индивидуалистическими представлениями об искусстве. Если бы Драйзер последовательно встал на позиции далекого от жизни искусства, говорилось в комментарии, «вся его 27-летняя литературная деятельность являлась бы памятником против него». И. Марченко признавал, что многие замечания Драйзера о недостатках наших произведений справедливы. Часто вместо живых людей революции в них действуют «сложности ни [illegible] мыслей, чувств, мы встречаем [illegible]ретные, голые схемы, шаблонные, неживые, условные фигуры. Но главное в том, что усилия наших писателей, артистов, работников кино направлены на полное и глубокое отображение жизни. [illegible]зировал Марченко и убедительными словами о возвращении к мировым стандартам. Жизнь несет новые явления, новые отношения и требует нового слова. «Новые времена — новые птицы, новые птицы — новые песни», — вспоминал он слова Гейне.

«Надеемся, — говорилось в заключение статьи, — что в результате более длительного ознакомления с нашей страной Драйзер придет к тому выводу, к которому уже пришли и приходят миллионы трудящихся всех стран: что коммунистическая программа вообще для всех стран более полезна».

Вечером мы проводили Драйзера в дорогу. Принесли сувенир — семеновский расписной деревянный ковш, ярко горевший красными и золотыми цветами. Драйзер залюбовался этим ковшом.

— Какой безупречный вкус, — сказал он. — Если бы красное было чуть покрасней, а золотое — чуть поярче, это было бы уже пестро и крикливо. Трудно достигнуть такого гармонического сочетания цветов. Простые крестьяне? Но это великолепные мастера!

Снова писатель пожалел, что у него не хватило времени поехать в эти места.

Мы сердечно распрощались.

Прошли годы, и я прочел в воспоминаниях Элен Драйзер: «Он много рассказывал мне о том, какие лишения и нужду терпят русские, но как они вместе с тем мужественны, преисполнены надежд и истинного воодушевления, ибо сейчас, как сказал Драйзер, они переживают свое второе рождение. Путешествуя по стране, он повсюду сталкивался с этим воодушевлением, он чувствовал его на каждом шагу и радовался этому, так как искренне полюбил русский народ. И одновременно с этим чувством в нем зародилось глубокое желание дальнейшего роста, успехов и счастья этому народу».

Его слова о коммунистической программе как самой полезной я вспоминал позднее, когда в трудные времена испытаний второй мировой войны Драйзер пришел к коммунистической партии.

Занимательное литературоведение

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Судьбы литературных героев — один из интереснейших вопросов литературоведения. Многие персонажи, однажды возникнув, веками кочуют из произведения в произведение, действуя каждый раз в новых ситуациях и по-новому.

Любопытна дальнейшая литературная судьба фонвизинского Митрофанушки. Уже через семь лет после первой постановки «Недоросля», в 1789 году, русский драматург П. Плавильщиков написал комедию в одном действии «Сговор Кутейкина», в которой фигурируют и Скотинин, и Цыфиркин с Кутейкиным, и Еремеевна, и другие действующие лица «Недоросля». Правда, самого Митрофанушки, как и его маменьки, мы здесь не встречаем, так как, по замыслу автора, первый определен-таки на службу в Петербург, а у Простаковой «волю-то отняли, чтоб не дралась».

Прямым продолжением «Недоросля» явилась пятиактная комедия Г. Городчанинова «Митрофанушка в отставке» (1800 год). Подражая Фонвизину, Городчанинов стремился не только сохранить его стиль и манеру, но и дать едкую сатиру на чиновничество, дворянство и даже на петербургский двор.

Еще через семь лет на сцене появились «Митрофанушкины именины» — довольно слабая комедия неизвестного автора.

23 сентября 1840 года в Петербурге была сыграна пьеса С. Навроцкого «Новый Недоросль», написанная как пародийное продолжение «Недоросля»: Митрофанушка представлен в ней петербургским щеголем, проматывающим все свои деньги на фраки, корсеты, галстуки.

Совершая путешествие из пьесы в пьесу, Митрофанушка появлялся каждый раз все в более комичном и нелепом виде и тем самым все более отдалялся от своего первоначального прототипа. Речь идет об А. Н. Оленине (1763—1843), черты которого, по преданию, послужили сатирику основой при создании образа Митрофанушки...

В юности Оленин действительно отличался склонностью к безделью, но впоследствии, увидя себя на сцене, «перевоспитался»... Он окончил университет, стал директором петербургской Публичной библиотеки, потом президентом Академии художеств и автором ряда ценных трудов по истории русского быта.

**

Не раз было «продолжено» после смерти Грибоедова бессмертное «Горе от ума».

Весной 1844 года в Мариинском и Московском Малом театрах с успехом показывали небольшую пьесу М. Воскресенского «Утро после бала Фамусова, или Все старые знакомцы». Действие ее происходит на следующий день после событий, описанных в комедии Грибоедова. Чацкого здесь нет. Переполох вызван тем, что Фамусов узнает о взаимных симпатиях Софьи и Молчалина. Пьеса оканчивается объявлением о помолвке Софьи и Скалозуба.

Помолвка оказалась удачной. Софья действительно вышла замуж за служаку-полковника, но не в этой пьесе. В 1856 году поэтесса Е. Ростопчина, в стихотворениях которой, по словам В. Белинского, «поэтическая прелесть и высокий талант» сочетались с преклонением «богу салонов» и пустотой содержания, написала комедию «Возврат Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки». Комедия носила реакционный характер.

За двадцать пять лет, прошедших со знаменательного бала у Фамусова, произошло немало перемен. Софья стала женой Скалозуба, который теперь губернатор и «в аншефы шагает». По мнению Фамусова, лучшей пары на свете не найти:

...междоусобной
У них ни разу не было
войны;
Во всем согласие: друг
другу угождают;
Посмотришь — голубки;
ну, точно влюблены!..

На самом деле «голубки» оказываются не столь уж и невинны: Скалозуб не только берет взятки, но «грабить стал обеими руками»; Софья же развлекается то с офицерами, то с чиновниками особых поручений... О своих прежних симпатиях к Молчалину она и думать позабыла, тем более что он и без помощи Софьи неплохо устроился:

Шел-шел себе, корпел и не
щадил покоя,
Теперь отличное местечко
взял за то:
Он за столом у обер-
прокурора!..
Уж сам Действительным
давно...
И Станислава ждет, и метит
в сенаторы —
Со временем!..

Ну, а что же Чацкий? Он эти годы «жил, устал. Объездил целый свет... Катался на суше... по морю... океаном: уехал мальчиком, вернулся ветераном! Все высмотрел!» Скитания эти принесли свои плоды: Чацкий «жил умом, для общества, для дружбы; наукой занялся», имеет труды по статистике, геологии, а в Москву пожаловал прямо с Брюссельского конгресса «ученых и любителей наук».

И хотя, как и у Грибоедова, Чацкий бездетен, без жены, именья не устроил, в чины не попадал, — от прежнего Чацкого (помните: «Он карбонари!». «Да он властей не признает!») не осталось и следа. «Я хладнокровней стал, умнее и добрей», — говорит он о себе и в конце комедии произносит речь в защиту барской ханжеской добропорядочности.

Ростопчина высмеяла здесь и многих известных деятелей русской культуры: профессор Евлампий Моисеевич Феологинский — это профессор Московского университета, талантливый русский историк Тимофей Николаевич Грановский, исследования которого еще при жизни снискали ему славу «Пушкина истории».

Но, несмотря на откровенную реакционность, «Возврат Чацкого» не был допущен к постановке, и цензура объяснила свой отказ сомнением, «прилично ли представлять на сцене подобный разврат московского общества?» Только в 1865 году комедия была напечатана.

Ростислав ОЛЮНИН

ГОДА ПРЕОДОЛЕВ...

У меня в руках «Тифлисский рабочий» — вечерняя газета более чем тридцатилетней давности... Испытан новый станок... Комсомольцы на заводах и в колхозах... Среди других информаций сообщение о том, что молодой грузинский скульптор комсомолец Коте Мерабишвили закончил работу над бюстом Георгия Димитрова.

1934 год... Бесстрашный болгарский коммунист после беспримерного поединка с нацистской государственной и полицейской машиной, из которого он вышел победителем, как известно, приехал в Советский Союз.

Я спрашиваю Константина Михайловича Мерабишвили, ныне народного художника Грузии, лауреата Государственной премии, одного из ведущих ваятелей республики, о том, как создавался бюст Димитрова.

— Георгий Димитров, — рассказывает Константин Михайлович, — приехал к нам в Грузию летом, в середине июля. Побыв сначала несколько дней в Батуми, он затем переехал в санаторий «Ликани», чтобы отдохнуть здесь, восстановить силы и здоровье. Там, в Боржоми, отдыхал тогда известный грузинский революционер Ф. Махарадзе, который и предложил мне сделать скульптурный портрет дорогого болгарского гостя. Димитров быстро согласился, хотя заметил, что позировать не любит. О подобной удаче, признаться, я и мечтать не мог. Вскоре после нашего знакомства он подарил мне свою фотографию со следующей надписью:

«т. Коте — на память о совместном пребывании в Ликани.

Г. Димитров.

Ликани. 9.8.34.»

Работа пошла споро. За семь сеансов портрет был готов. Димитров внимательно посмотрел его, — вы понимаете, что я тогда чувствовал, — усмехнулся и сказал:

— Что ж, неплохо. Похож, а? — А потом сам же ответил: — Похож, похож, — и засмеялся.

Так и остались у народного художника Грузии К. Мерабишвили на память о той далекой встрече фотография с собственноручной надписью Димитрова, несколько снимков, где вместе с гостем запечатлены его грузинские друзья, и самое главное — его бюст — гордая голова человека, которого не сломили ни дубинки штурмовиков, ни пытки в гестаповских застенках.

Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ
Наш корр.

ТБИЛИСИ

МЫ—МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Смотрю на эти лица почти с удивлением: они без единой морщины, без следов забот и тревог. Смотрю и вспоминаю, как далека та осень 1922 года, когда слетелись мы в Москву.

С Украины [illegible] три поэта — М[illegible], Миша Голодн[illegible] Ясный, с Урала — [illegible] Либединский и [illegible]мова, из Вологды — [illegible] Шубин, из Т[illegible] Доронин. Не [illegible]ткуда — Сергей [illegible] Светозаров и Ко[illegible]. Нет на снимке [illegible]нского из Вла[illegible]теме Веселого [illegible], Иване Рахилло, Л. Авербаха, А. Зоркого и меня...

В Москве все по-фронтовому быстро познакомились, сдружились и дели содружеству наименование — «Молодая гвардия».

Саша Безыменский в первые же дни написал комсомольский гимн. Этот гимн — он вскоре стал широко известен — утвердил Центральный Комитет комсомола.

Вперед, заре навстречу,
Товарищи в борьбе!
Штыками и картечью
Проложим путь себе.
Мы — молодая гвардия
Рабочих и крестьян.

Стремления наши целиком укладывались в слова песни: «Мы — молодая гвардия рабочих и крестьян». Значит, наше дело — учиться и писать. И наш кружок, мне кажется, оправдал свое наименование.

А. КОСТЕРИН

Фотография публикуется впервые.

Ф. Махарадзе и Г. Димитров.

Бюст Георгия Димитрова.
Работа народного художника Грузии К. МЕРАБИШВИЛИ